

Николай Лесков
Смех и горе

Глава первая

Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера; сумерки с каждой минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходявшего окнами к одной из оранжерей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою. Это было в одном дружеском семействе, куда я, дядя мой Орест Маркович Ватажков и еще двое наших общих знакомых только что вернулись с вербного базара, что стоит о Лазаревой субботе у Гостиного двора. Мы все пришли сюда прямо с этого базара и разговорились о значении праздничных сюрпризов.

Семейный дом, в котором мы собрались, был из числа тех домов, где не спешат отставать от заветных обычаев. Здесь известные праздничные дни отличаются от простых дней года всеми мелочами, какими отличались эти дни у отцов и дедов. Тут непременно поздний обед при звезде накануне Рождества; кутья по Предтече в Крещенский сочельник; жаворонки детям 9 марта, а в воскресенье пред Страстной неделей вербные подарки. Последние обыкновенно состояли из разных игрушек и сюрпризов, которые накануне с вечера закупались на вербном базаре у Гостиного двора и рано утром подвешивались на лентах под пологам детских кроваток. Каждый подарок украшался веткою вербы и крылатым херувимом... Дети были уверены, что вербные подарки им приносит сам этот вербный херувим или, как они его называли, «вербный купидон».

Об этих подарках и зашла теперь речь: все находили, что подарки – прекрасный обычай, который оставляет в детских умах самые теплые и поэтические воспоминания; но дядя мой, Орест Маркович Ватажков, человек необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вредны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем паче в России.

– Потому, – продолжал дядя, – что здесь и без того что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный; так зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю в виде сюрприза только одно – сечь ребенка.

Все переглянулись; кое-кто улыбнулся.

– Это и понятно, что Оресту Марковичу неприятно говорить о детях и о детстве, сказала хозяйка. – Старые холостяки не любят детей.

– Опять должен вам возражать, – отвечал дядя. – Хотя я уже и действительно в таких летах, что не могу обижаться именем старого холостяка, но тем не менее детей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, потому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания. Надо готовить детей к жизни сообразно ожидающим их условиям, а так как жизнь на Руси чаще всего самых лучших людей ни зб что ни пру что бьет, то в виде сюрприза можно только разве бить и наилучших детей и то преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой похвалы.

– Вы чудачествуете, Орест Маркович?

– Нимало: вербные купидоны для меня, как и для ваших детей, еще не перешли

в область прошедшего, и я говорю о них даже не без замирания сердца.

– Это шутка?

– Нисколько. Что за шутка серьезными вещами.

– Так это история?

– Даже несколько историй, если вам угодно: лучше сказать, это такое же *potpourri*¹ из сюрпризов, как бывает *potpourri* из песен.

– И вы, может быть, будете так любезны, что расскажете нам кое-что из вашего *potpourri*?

– Охотно, – отвечал мой дядя, – тем более, что здесь и тепло, и светло, и приятно, и добрые снисходительные слушатели, а мое *potpourri* варьировано на интереснейшую тему.

– А именно?

– А именно вот на какую: все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за границу *развлекаться*, тогда как я утверждаю и буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно *для успокоения* от калейдоскопической пестроты русской жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде.

– Орест Маркович! Мы вас слушаем.

– Милостивые государи! Я повинуюсь и начинаю.

Глава вторая

Большинству здесь присутствующих обстоятельно известно, что я происхожу из довольно древнего русского дворянского рода. Я записан в шестую часть родословной книги своей губернии; получил в наследство по разным прямым и боковым линиям около двух тысяч душ крестьян; учился когда-то и в России и за границей; служил неволею в военной службе; холост, корнет в отставке, имею преклонные лета, живу постоянно за границей и проедаю там мои выкупные свидетельства; очень люблю Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь против нее, когда живу в ней; а потому наезжаю в нее как можно реже, в экстренных случаях, подобных тому, от которого сегодня только освободился. Я рассказываю вам все очень подробно и не утаиваю никаких мелочей моего характера, эгоистического и мелкого, не делающего мне ни малейшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтите вашим особенным вниманием, но я уже, во-первых, стар, чтобы заискивать себе чье-нибудь расположение лестью и притворством, а во-вторых, строгая истина совершенно необходима в моем полуфантастическом рассказе для того, чтобы вы ни на минуту не заподозрили меня во лжи, преувеличениях и утайках.

В воспитании моем есть что-то необыкновенное. Я русский, но родился и вырос вне России. Должность родных лип, под которыми я впервые осмотрелся, исправляли для меня южные каштаны, я крещен в воде итальянской реки, и глаза мои увидали впервые солнце на итальянском небе. Родители мои постоянно жили в Италии. Отец мой не был изгнанник, но тем не менее север был для него вреден, и он предпочитал родине чужие края. Мать моя тосковала по России и научила меня любить ее и стремиться к ней. Когда мне минуло шесть лет, стремлению этому суждено было осуществиться: отец мой, катаясь на лодке в Генуэзском заливе, опрокинулся и пошел как ключ ко дну в море. После этой потери юг утратил для нас с матерью свое значение, и мы потянулись с нею на север. Мне о ту пору было всего восемь лет. Тогда и по Европе еще сплошь ездили в дилижансах, а у нас плавали по грязи.

Я не помню уже, сколько дней мы ехали до Петербурга, сколько потом от Петербурга до Москвы и далее от Москвы до далекого уездного города, вблизи которого, всего в семи верстах, жил мой дядя. Эта продолжительная и утомительная поездка, или, вернее сказать, это плавание в тарантасах по грязи, по тридцати верст в сутки на почтовых, останется вечно в моей памяти. Я как будто вчера еще только отбыл эти муки, и у меня даже еще ноют при всяком движении хрящи и ребра. Я поистине могу сравнивать это странствование с странствованиями Одиссея Лаэртида. Приключения были чуть не на каждом шагу, и покойница матушка во всех этих приключениях играла роль доброго гения.

Глава третья

Благие вмешательства моей матери в судьбы странников начались с первого же ночлега по петербургскому шоссе, которое существует и поднесь, но о котором все вы, нынешние легковесные путешественники, разумеется, не имеете никакого понятия. Железные дороги – большое препятствие к изучению России, я в этом положительно уверен; но это а propos...² Как сейчас помню: теплый осенний вечер; полоска слабого света чуть брезжится на западе, и на ней от времени до времени вырезаются силуэты ближайших деревьев: они все казались мне солдатиками, и я мысленно сравнивал их с огненными мужичками, которые пробегают по сгоревшей, но не истлевшей еще бумаге, брошенной в печь. Я любил, бывало, засматриваться на такую бумагу, как засмотрелся, едучи, и на полосу заката, и вовсе не заметил, как она угасла и как пред остановившимся внезапно экипажем вытянулась черная полоса каких-то городул, испещренных огненными точками красного цвета, отражавшегося длинными и острыми стрелками на темных лужах шоссе, по которым порывистый ветер гнал бесконечную рябь. Это был придорожный поселок, станция и ночлег. Борис Савельич, старый и высокий, с седым коком лакей, опытный путешественник, отряженный дядею в наши проводы и высланный нам навстречу в Петербург для сопровождения нас в заветную глубь России, соскочил с козел и отправился на станцию. Я видел, как его грандиозная, внушающая фигура в беспредельной, подпоясанной ремнем волчьей шубе поднялась на крыльцо; видел, как в окне моталась тень его высокого кока и как потом он тотчас же вышел назад к экипажу, крикнул ямщику: «не смей отпрягать» и объявил матушке, что на почтовой станции остановиться ночевать невозможно, потому что там проезжие ремонтеры играют в карты и пьют вино; «а ночью, – добавлял наш проводной, – хотя они и благородные, но у них наверное случится драка». Матушка страшно перепугалась этого доклада и тотчас же сдалась на предложение Бориса Савельича отъехать на постоянный двор к какому-то Петру Ивановичу Гусеву, который, по словам Бориса, был «отличнейший человек и имел у себя для проезжающих преотличные покои».

Двор этого отличнейшего человека был всего в двух шагах от станции, и не успел Борис командовать: «к Петру Ивановичу», как экипаж наш свернул с шоссе налево, прокатил по небольшому мостику через придорожную канаву и, прополз несколько шагов по жидкой грязи, застучал по бревенчатому помосту под темными сараями крытого двора. Посредине этого двора, под высокими стропилами, висел на перекинутой чрез блок веревке большой фонарь, ничего не освещавший, но глядевший на все, точно красный глаз кикиморы. В непроглядной тьме под сараями кое-где слышались человеческие голоса и то тихий стук конских зубов, жевавших овес, то усталое лошадиное отпырхивание.

Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся с нами из-за границы, высвободившись из-под вороха шуб и меховых одеял, укутывавших наши ноги от пронзительного ветра, шли в «упокой» пешком, а меня Борис Савельич нес на руках, покинув предварительно свой кушак и шапку в тарантасе. Держась за воротник его волчьей шубы, я мечтал, что я сказочный царевич и еду на сказочном же сером волке.

«Упокоев», которыми соблазнил нас Борис, к нашим услугам, впрочем, не оказалось. Встретившая нас в верхних сенях баба, а затем и сам Петр Иванович Гусев – атлетического роста мужчина с окладистой бородой – ласковым голосом и с честнейшим видом объявил нам, что в «упокоях» переделываются печи и ночевать там невозможно, но что в зале преотлично и чай кушать и опочивать можно на диванах.

– А барчуку, – добавил он, указывая на меня, – мы смостим два креслица и пуговичок подкинем.

Мать решила, что это прекрасно и, взяв с хозяина слово, что он в залу уже никого, кроме нас, не пустит, велела подать самовар. Последнее распоряжение матушки тотчас же вызвало со стороны Бориса осторожное, шепотом выраженное замечание, что, мол, этак, не спросивши наперед цены, на постоялом дворе ничего спрашивать невозможно.

– Хотя это точно, – говорил Борис, – что мы с вашим братцем всегда останавливаемся у Петра Ивановича, и он обижать нас по-настоящему не должен, ну а все же правило того требует, чтобы спросить.

Борис Савельич был из числа тех крепостных людей, выросших в передней господского дома, для которых поездки, особенно дальние поездки в столицы, в Москву или Петербург, составляли высшее удовольствие. В этих поездках он мог щеголять своею опытностью, знанием света, тонким пониманием людей и вообще такими сведениями, каких при обыкновенном течении жизни ему показать было некому да которых от него в обыкновенное время никто и не спрашивал. Все, что он ни делал в дороге, – все это он делал как бы некое священнодействие, торжественно, величественно и притом с некоторым жреческим лукавством.

В большой комнате, которую мы для себя заняли, Борис Савельич тотчас же ориентировал нас к углу, где была тепло, даже жарко натопленная печка. Он усадил меня на лежанку, матушку на диван и беспрестанно прибегал и убегал с разными узлами, делая в это время отрывочные замечания то самому дворнику, то его кухарке, – замечания, состоявшие в том, что не вовремя они взялись переделывать печки в упокоях, что темно у них в сенях, что вообще он усматривает у них в хозяйстве большие нестроения.

Затем Борис убегал снова и снова возвращался с корзинками, в которых были припасенные в дорогу папушники и пирожки. Все это было разложено на печке, на чистой бумаге, и Борис Савельич, разбирая эту провизию, внушал матушке, что все это надо кушать, а у дворника ничего не брать, потому-де, что у него все очень дорого.

– Я про ужин для себя полюбопытствовал, – говорил Борис, – да полтину просит, так я ему в глаза и плюнул.

Матушку такая резкость смутила, и она поставила это Борису на вид; но тот только махнул рукой и отвечал, что с торговым человеком на Руси иначе обходиться невозможно.

– Их, матушка! – уверял он, – и поп, когда крестит, так в самое темя им три раза плюет.

Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался, как это производится указанная Борисом процедура, а между тем был подан самовар; я выпил одну чашку, почувствовал влечение ко сну и меня уложили на той же теплой лежанке. Матушка расхаживала по комнате, чтобы размять ноги, а Борис с нянькою сели

за чай; они пили очень долго и в совершенном молчании. Я, потягиваясь на лежанке, все наблюдал, как моя нянька краснела и, как мне казалось, распухала. Она мне тогда представлялась белой пиявкой, каких я, впрочем, никогда не видал; я думал: вот еще, вот еще раздуется моя няня и хлопнет. И точно, старуха покраснела, раздулась, расстегнула даже платок на груди и отпала. Но Борис Савельич упорно оставался один за столом. Он сидел прямо, как будто проглотил аршин, и наливал себе мерно стакан за стаканом с очевидным непреложным намерением выпить весь самовар до последней капли. Он не раздувался и не краснел, как няня, но у него зато со всяким хлебком престрашно выворачивались веки глаз и из седого его чуба вылетал и возносился легкий пар. Мне очень хотелось спать, но я не мог уснуть, потому что все мною наблюдаемое чрезвычайно меня занимало. Это была *она*, моя заветная, моя долгожданная Россия, которую я жаждал видеть ежесекундно. Она была в этой бесприютной комнате, в этом пузатом самоваре, в этом дымящемся чубе Бориса...

Но наблюдениям моим готов был и иной материал.

Среди таких занятий нашей компании, о которых я рассказываю, под окнами слышался шум от подъехавшего экипажа и вслед за тем стук в ворота и говор. Няня взглянула в окно и сказала:

– Шестерная карета!

– Ну, как приехали, так и уедут, – отвечал ей Борис, – останавливаться негде.

Но в эту минуту на пороге явился умильный Петр Иванович и с заискивающей, подобострастной улыбкой начал упрашивать мать во что бы то ни стало позволить напиться чаю в нашей комнате проезжей генеральше. Борис Савельич окрысился было за это на дворника как пес Дагобера, но, услышав со стороны матери предупредительное согласие, тотчас же присел и продолжал допивать свой чай и дымитесь. Я имел черт знает какое возвышенное понятие о русских генералах, про которых няня мне говорила дива и чудеса, и потому я торжествовал, что увижу генеральшу.

Глава четвертая

В комнату нашу вошла большая, полная, даже почти толстая дама с косым пробором и с мушкой на левой щеке. За ней четыре барышни в ватных шелковых капотах, за ними горничная девушка с красивым дорожным ларцом из красного сафьяна, за девушкой лакей с ковром и несколькими подушками, за лакеем ливрейный лакей не ливрейный с маленькою собачкой. Генеральша, очевидно, была недовольна, что мы заняли комнату, прежде чем она накушалась здесь своего чаю.

Она извинялась перед матушкой, что побеспокоила ее, но извинялась таким странным тоном, как будто мы были перед нею в чем-то виноваты и она нас прощала. Матушка по своей доброте ничего этого не замечала и даже радовалась, что она может чем-нибудь услужить проезжим, вызывалась заварить для них новый чай и предложила дочерям генеральши наших отогретых пирожков и папушников. Но генеральша отклонила матушкино хлебосольство, объяснив, все в том же неприступном тоне, что она разогретого не кушает и чаю не пьет, что для нее сейчас сварят кофе в ее кофейнике, а пока... она в это время обратилась к Петру Ивановичу и сказала:

– Послушай, мужик, у тебя есть что-нибудь завтракать?

– Матушка, – отвечал, выгибаясь, Петр Иванович, – у меня сию минуту индюк в печи сидит, – на станцию для ремонтёров жарил, да если твоей милости угодно, мы тебе его подадим, а они подождут.

– Давай, – приказала генеральша.

Наш Борис тряхнул чубом и еще с большим ожесточением стал глотать остывающий чай. И мне и Борису показалось, что генеральша приказала подать индюка единственно затем, чтоб унижить этим нас, занимавших в комнате лучшее место, но скромно подкреплявшихся чаем и разогретыми пирожками. Все мы были немало переконфужены этим начинавшим подавлять нас великосветским соседством и нетерпеливо ждали появления индюка, в надежде, что вслед за тем гости наши покушают и уедут.

Наконец, явился и он. Как теперь его помню: это был огромный, хорошо поджаренный, подрумяненный индюк на большом деревянном блюде, и в его папоротку был артистически воткнут сверкающий клинок большого ножа с белой костяною ручкой. Петр Иванович подал индюка и, остановясь, сказал:

– Прикажете раскроить?

– Нет, пожалуйста, пожалуйста... твоих услуг не надо, – отвечала генеральша.

Петр Иванович, не конфузясь, отошел в сторону.

На столе запылал кофейник, и генеральша обратилась к дочерям с вопросом, чего кому хочется. Ни одной не хотелось ничего. Надо помнить, что это были те времена, когда наши барышни считали обязанностью держаться неземными созданными и кушали очень мало, а потому генеральша только и могла отрезать от индюка одно крылышко. Это крылышко какая-то из девиц подержала в руках, покусала и бросила на тарелку. Затем лакей доложил, что карета готова, и чопорные гости стали собираться. Но тут произошла престранная история, впервые поколебавшая мое высокое понятие о генеральшах.

Петр Иванов явился с огромными счетами, начал выкладывать за теплоту и

за светлоту и вдруг потребовал за жареного индюка семнадцать с полтиной (конечно на ассигнации).

Генеральша так и вскипела.

– Чту ты, чту ты! Да где же это за индюка семнадцать с полтиной? Этак и за границей не дерут.

– Нам, сударыня, заграница не указ; мы свой расчет держим.

– Да мы твоей индюшки и не съели: ты сам видишь, я одно крылышко от неё отломил.

– Как вам угодно, – отвечал Петр Иванов, – только я ее теперь никому подать не могу. Как у нас русский двор, то мы, сударыня, только целое подаем, особенно ремонтерам, потому как это господа завсегда строгие.

– Ах, какой же ты мошенник! – закричала генеральша.

Петр Иванов просил его не порочить.

– Нет, скажите Бога ради, мошенник он или нет? – обратилась генеральша заискивающим тоном к моей матери.

Мать промолчала, а Петр Иванов положил на стол счета и вышел.

– Я не заплачу, – решила генеральша, – ни за что не заплачу, – но тут же и спасовала, потому что вошедший лакей объявил, что Петр Иванов не выпускает его с вещами к карете.

– Ах, боже мой, разве это же можно? – засуетилась генеральша.

– Торговаться вперед надо, – отвечал ей поучительно Борис.

– Но, мой друг, пойдй, уговори его. Вы позволите?

Мать позволила, Борис пошел, долго кричал и вернулся с тем, что менее пятнадцати рублей не берет.

– Скажите, что же мне делать? – засуетилась снова генеральша.

Мать моя, зевая и закрывая рот рукою, отвечала генеральше по-французски, что надо заплатить, и добавила, что с одного ее кузена на Кавказе какие-то казаки на постоялом дворе потребовали пять рублей за пять яиц и, когда тот не хотел платить, заперли его на дворе.

– Неужели это может быть и со мною? – воскликнула генеральша и, заливаясь слезами, начала упрашивать Петра Иванова об уступке, но Петр Иванов из пятнадцати рублей не уступил ни одной копейки, и деньги эти ему были заплачены; генеральша, негодующая и заплаканная, стала прощаться, проклиная Русь, о которой я слышал за границей одни нежные вздохи.

– Возьмите же по крайней мере с собою этого индюка: он вам пригодится, – сказала моя мать генеральше.

Растерянная генеральша с радостию согласилась.

– Да, да, – заговорила она, – конечно, жаркое пригодится.

И с этим ее превосходительство, остановив за руку Петра Иванова, который хотел уносить индюка, сказала ему:

– Позволь, позволь, батюшка: ты деньги получил, а индюк мой. Дай мне сахарной бумаги, чтобы завернуть.

Петр Иванов отказал, но мать встала с своего места, пересыпала рубленый сахар из бумажного картуза в холщовый мешочек и передала ее Борису, который тут же мастерски увернул индюка и вручил его непосредственно самой генеральше. Встреча с этою гордою дамой, ее надутый вид и метаморфозы, которые происходили с нею в течение нескольких минут, были для меня предметом